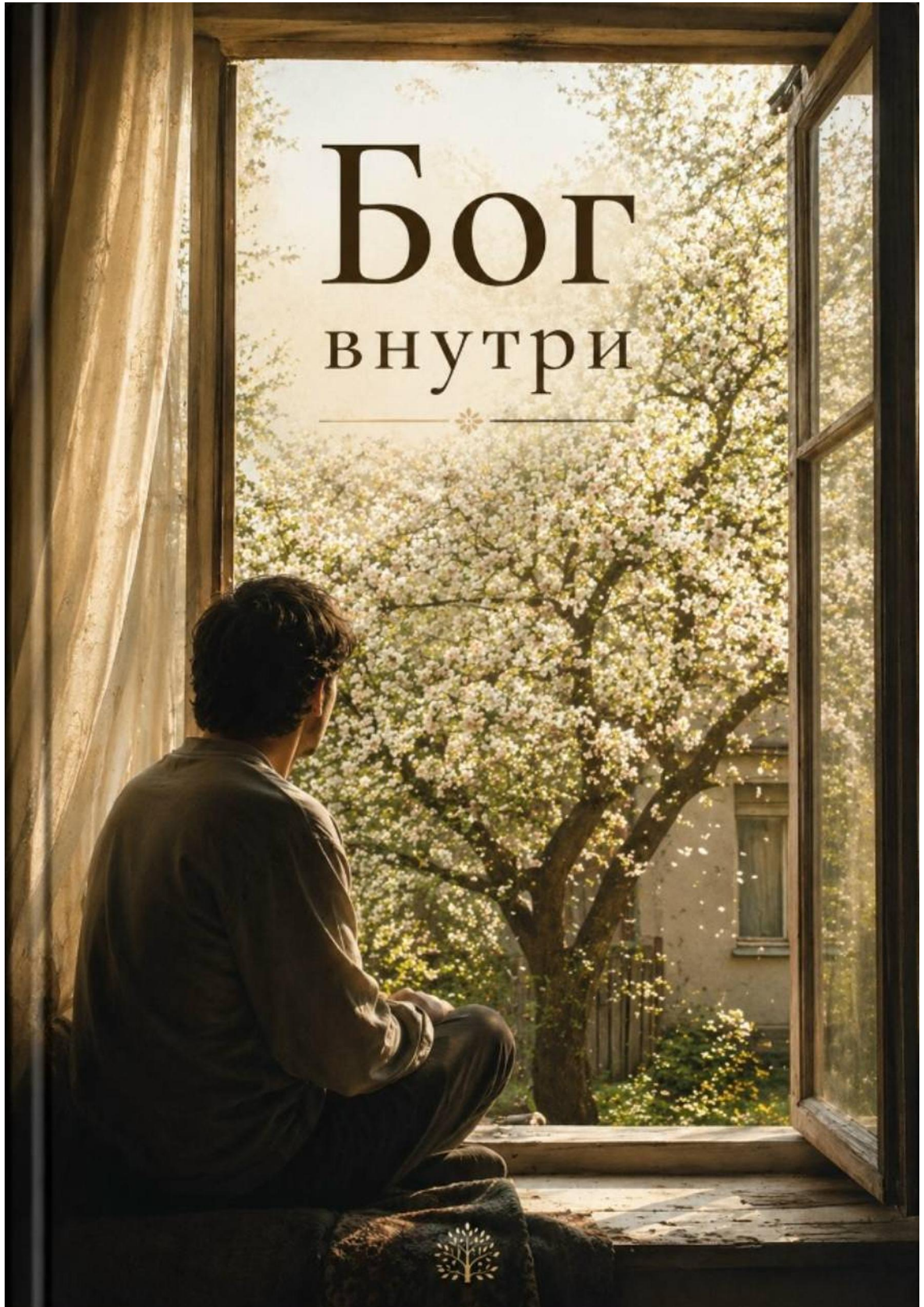


Бог внутри



Александр Зубырин

Бог внутри

«Автор»

2026

Зубырин А.

Бог внутри / А. Зубырин — «Автор», 2026

Эта книга — исповедь простого человека, который прошёл путь от бедности и отчаяния до пробуждения и подлинного счастья. Родившись в глухой деревне, пройдя через голод, унижения и предательства, он нашёл Бога не на небесах и не в храме, а внутри себя. Эта история — зеркало, в котором каждый узнает свою боль и свой путь к свету.

© Зубырин А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Вступление	5
Глава 1.	6
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Александр Зубырин

Бог внутри

Вступление

С самого детства я чувствовал: мир — это не только то, что можно увидеть и потрогать. Где-то рядом, за гранью обычного, есть что-то ещё. Что-то, что шепчет в ветре, мерцает в утренней росе, поддерживает, когда земля уходит из-под ног.

Я, как и многие, думал, что это Бог — тот, о котором говорят в церкви, тот, кто на небе, кто создал мир и заботится о каждом.

О вере мне рассказывала мама. Она говорила, что бабушка очень верила и всегда учила её креститься перед сном, шептать: «Господи, помилуй» — в трудную минуту. И мама передала это мне.

Я не помнил бабушку — она ушла, когда мне был всего год. Но почему-то её вера, словно через маму, дошла и до меня. И я верил — искренне, по-детски.

Глава 1.

Я родился в русской деревне, в глубинке, в одна тысяча девятьсот восемьдесят седьмом году. В тот самый год, когда страна уже трещала по швам, но в нашей избе трещали только дрова в печи.

Мать работала на фабрике. Уходила затемно, приходила затемно. Помню не лицо её — оно всегда было в полумраке коридора или размытое усталостью, — а её запах. Когда она переступала порог, избу наполнял резкий, горячий дух машинного масла, смешанного с сырой овечьей шерстью и чуть заметной хлоркой из фабричной столовой. Это был запах движения, запах жизни, которая крутится там, за околицей. Я, маленький, зарывался носом в её колючий свитер, потому что это был единственный способ прикоснуться к тому большому миру, где она пропадала целыми днями.

Она старалась уделить нам время. Это «старалась» выражалось просто: она ставила на стол чугунок с кашей и, пока мы ели, сидела рядом, подперев голову рукой. Глаза её были открыты, но она уже спала. Мы это чувствовали и старались есть тихо.

Позже, когда я узнаю, что такое молитва, я пойму: Бог пахнет для каждого по-своему. Для меня в детстве он пах машинным маслом и усталостью женщины, которая не сдалась.

В том же году, когда я родился, умерла моя бабушка. Месяцев не помню, да и кто их считал в деревне? Она ушла ровно в тот момент, когда я пришёл. Будто передала мне вахту. В доме осталась только одна её фотография — маленькая, с надломленным уголком, где она стоит в платке, завязанном назад, и смотрит куда-то мимо фотографа, в поле. Этот взгляд станет моим первым алтарём.

Отец был строг. Слово «люблю» я от него не слышал ни разу. Но он говорил другое — громко, при всех, глядя не на меня, а куда-то в сторону леса: «Мелкого не обижать. Он — неприкосновенный запас нашей семьи».

Я не знал тогда, что такое «неприкосновенный запас». Думал, это что-то важное, что хранят на чёрный день. И лишь спустя годы понял: для отца я был тем самым ковчегом, в котором он спрятал свою нерастраченную нежность. Он не мог дать её мне в руки, потому что руки у него были грубые и вечно в мозолях. Он просто выставил вокруг меня охрану из слов: «Не обижать».

На словах он выделял меня среди других детей. Но на деле — спрашивал так же строго, как и со всех. Однажды я стоял и смотрел, как он колет дрова. Мне нравился ритм: вдох, замах, выдох — «Хрясь!». Я подобрал с земли щепку, похожую на пистолет. Он перехватил мой взгляд, вытер пот и сказал:

— Любить я тебя люблю, но полешки в сарай понесёшь наравне с братом. Бог всех любит, а дождь на всех льет одинаково. Привыкай.

Я нёс одно полено двумя руками, прижимая к животу. Оно было шершавым, от него пахло смолой и морозом. Я споткнулся и упал. Брат заржал. Отец даже не обернулся. Только сказал громко, в пустоту: «Вставай. Нечего лежать на дороге. Ты у меня особенный, а значит, подниматься должен быстрее всех».

Именно тогда Бог внутри меня впервые обрёл голос, похожий на отцовский. Не ласковый шёпот, а суровое: «Вставай».

Нас у матери было четверо. Старшая сестра, средняя сестра, старший брат и я — последний.

Старшая сестра была хитрой, как лиса, прожившая три жизни. Она умела сидеть на кривой табуретке так, будто это трон. В девяностые, чтобы выжить в деревне, нужно было уметь не вкалывать, а перераспределять чужой труд. И она владела этим искусством в совершенстве. Пока средняя сестра разливала суп по тарелкам, старшая успевала рассказать матери, как именно средняя плохо вымыла пол. И средняя получала выговор. Зато лишний кусок хлеба с маслом перекочёвывал в тарелку старшей. У неё всегда был чистый воротничок, даже в грязь. Голос сладкий, но глаза прищуренные, оценивающие: «Что с тебя можно взять?».

Старший брат меня невлюбил. Я долго думал — почему? А ответ был прост: отец слишком часто повторял «мелкого не обижать». Брат, видимо, чувствовал себя обделённым этой охраной и отыгрывался на мне, когда взрослые не видели. Я плакал часто. Очень часто.

И тогда приходила она. Средняя сестра.

Руки у неё вечно были в цыпках или в муке. Ходила она быстро, тихо. Говорила мало, но если говорила — то всегда по делу. Её защита была не в громких словах, а в действиях. Она пододвигала свою подушку ближе, чтобы мне не дуло от окна. Она молча вытирала мне слёзы подолом своей юбки.

Однажды старшая сестра за обедом взяла мой кусок сахара — просто так, из вредности. Сахар был дефицитом, его давали к чаю редко, по праздникам или когда я болел. Я открыл рот, чтобы зареветь на всю избу. И тут средняя сестра, молча, под столом, пнула меня ногой. Не больно, но чувствительно. И одними губами прошептала:

— Терпи. Она ждёт, чтобы ты заорал. Если заорёшь — она победила. Молчи, а я тебе вечером свой сахар отдам.

И я замолчал. Это был урок метафизики. Бог внутри не всегда даёт тебе конфету. Иногда Он просто пинает тебя под столом, чтобы ты не показал врагу свою слабость.

Я был маленький. Со мной не играли. Им, старшим, было не до меня — у них свои игры, свои разговоры, свой телевизор с помехами. Я оставался один. В одиночестве я начинал «бедокурить». Рассыпал крупу. Разбивал банку. Стучал ложкой по кастрюле так громко, что звон стоял по всей избе.

Я делал это не потому, что был плохим. Я делал это, чтобы меня заметили. Чтобы хоть кто-то посмотрел в мою сторону и сказал: «Ты есть. Я тебя вижу». Пусть даже этот взгляд будет злым, пусть даже за ним последует подзатыльник. Боль от подзатыльника была лучше, чем невидимость.

Я сидел на полу в кухне и пересыпал гречку из банки в стоящую рядом кастрюлю. Мимо. Специально. Чтобы зёрна стучали громче. Чтобы сестра оторвалась от своих тетрадок, чтобы брат перестал щёлкать телик. Шум гречки — это был мой голос. Мне было мало лет, чтобы сказать: «Мне страшно одному». Но мне хватило ума рассыпать крупу по всему полу.

Мир наконец-то заметил меня. Правда, заметил злым окриком и подзатыльником.

Я тогда не понимал, что это Бог внутри меня стучал гречкой о жестяные стенки моей души. Он хотел, чтобы я сам себя заметил. Но я ещё лет двадцать буду путать голод по Богу с обычным одиночеством.

Однажды обида накрыла меня с головой. Старшая сестра сказала при матери что-то едкое, вроде «Мелкий опять кашу просыпал, весь в отца — руки-крюки». Мать устало махнула рукой. Я выбежал в огород и залез в самую гущу картофельной ботвы. Спрятался. Зарылся в листья, как зверёк.

Через минуту ветки раздвинулись. Это была средняя сестра. Она не стала говорить: «Не плачь, она дура». Она села рядом, прямо на сырую землю, достала из кармана стручок гороха и протянула мне. Мы сидели молча, жевали сладкий, хрустящий горох, и комары звенели над ухом.

А потом она сказала фразу, которую я пронесу через всю свою философию:

— Знаешь, почему старшие нас обижают? Потому что мы — как этот горох в стручке. Мы внутри скорлупы сладкие и целые. А они снаружи уже твёрдые и колючие. Бог таких, как мы, прячет в стручок, чтобы не склевали. Сиди тихо и зрей.

В тот момент я не понял про Бога. Но я понял про стручок. И с тех пор, когда мир становится слишком громким, я ищу свой «стручок» — место внутри себя, где можно просто сидеть и жевать горох, пока буря не пройдёт.

В доме был угол, куда меня ставили в наказание. Там стоял старый сундук с бабушкиными вещами, и на стене висела та самая фотография в платке. Однажды, когда я в очередной раз что-то рассыпал, отец молча взял меня за шкуру, отнёс в тот угол и сказал средней сестре: «Пусть постоит. Там его никто не тронет».

Я стоял и смотрел на женщину на бумаге. Она смотрела на меня из-под платка с каким-то спокойным ожиданием. Я не знал её имени. Но я понял: если я стою здесь, меня никто не обидит. Отец так сказал. Это была его форма любви — выставить меня под защиту той, кого уже нет, но чей взгляд остался.

Позже, думая о Боге, я вспомню этот угол. Бог внутри нас часто живёт в той комнате, куда нас отправили в наказание. Там тихо. Там никто не дёргает. Там только взгляд, который ждёт, когда ты перестанешь суетиться и просто выдохнешь.

Мне было шесть. Я хотел помочь средней сестре нести воду от колодца. Схватился за дужку ведра, чтобы хоть немного приподнять. Вода плеснула, я поскользнулся на мокрой глине и полетел коленями прямо в мелкий гравий. Кровь, грязь, боль. Я заревел так, что куры разбежались.

Прибежала мать, схватила меня в охапку. Но перевязывала меня именно средняя сестра. Она дула на ранку и приговаривала: «Терпи, казак, атаманом будешь». А потом, когда мать ушла к печи, она достала из бабушкиного сундука лоскут старой, выцветшей юбки и перевязала мне колено им.

— Это бабушкино, — сказала она. — У неё руки лёгкие были. Боль скорее пройдёт.

И ведь прошла. Остался только шрам — в виде буквы «П» или «Л», смотря с какой стороны глядеть.

В философии жизни с Богом внутри наши шрамы — это не уродство. Это места, где наша кожа стала тоньше, и через неё Богу легче до нас достучаться. Колено зажило, но память о том, что меня лечили бабушкиной тканью и сестриним дыханием, осталась навсегда. Это и есть литургия детства — когда хлеб — это просто хлеб, вода — просто вода, а любовь — это подорожник и лоскут старой юбки.

Так я прожил свои первые шесть лет. В тишине, в обидах, в редких объятиях усталой матери и в крепком, как полено, слове отца. Я ещё не знал слова «Бог». Но Он уже был там — в запахе машинного масла, в стручке гороха, в пустом углу с фотографией и в руке сестры, которая зажимала мне рот, чтобы я не закричал от боли.

Он молчал. И я молчал. Мы привыкали друг к другу.

В детский сад я ходил один год. С шести до семи. Мать оформила меня сама — собрала справки в сельсовете, съездила в район, привезла какие-то бумажки. Отец в это не вникал. Его дело было — чтобы в доме тепло, скотина сыта, дети не баловались. А круги ада под названием «дошкольное образование» мать проходила одна.

Сад был в соседней деревне, километров за семь от нашей. Каждое утро мать будила меня затемно, натягивала колючий свитер, совала в руки узелок с пирожком или варёным яйцом и вела на остановку. Там, у покосившегося столба с выцветшим расписанием, мы ждали рейсовый ПАЗик. Он выползал из тумана, как большое жёлтое чудовище, фырчал соляркой и запахивал скрипучую дверь. Внутри пахло бензином, табаком «Прима» и мокрыми валенками. Я садился у окна, прижимался лбом к холодному стеклу и смотрел, как мимо проплывают замёрзшие поля, голые берёзы и редкие чёрные избы. Мать махала мне рукой с остановки, пока автобус не скрывался за поворотом. Я махал в ответ, хотя она уже не видела.

В саду меня встречала тётя Валя — воспитательница с родинкой на подбородке и голосом, способным перекричать два десятка орущих детей. Она была не злая, просто громкая. Жизнь в деревне вообще громкая: коровы мычат, трактора тархтят, отцы матерятся на скотину. Тишина бывает только в поле или в церкви, но церкви в нашей деревне не было — разобрали ещё до моего рождения на кирпичи для фермы.

Именно в саду я впервые узнал, что такое тоска по дому длиною в целый день. Не острая, не со слезами, а тягучая, как кисель, который давали на полдник. Я сидел за столиком, ковырял ложкой манную кашу с комками и представлял, как там, дома, средняя сестра уже управилась с курами и теперь сидит у печки, штопает мои носки. Как мать пришла с фабрики и пьёт чай, глядя в одну точку. Как отец колет дрова во дворе, и звук этот — «хрясь!» — разносится по всей округе. А я здесь. В чужой деревне, за чужим столом, с чужими детьми.

Но Бог внутри меня, тот самый, что раньше прятался в бабушкином лоскуте, в саду начал учить меня ждать. Ждать — это ведь тоже молитва. Просто ты ещё не знаешь этого слова.

Распорядок был железный. Утром — зарядка под баян. Тётя Валя играла «В лесу родилась ёлочка» круглый год, даже в мае. Мы махали руками, приседали, и я всё время сбивался,

потому что смотрел не на воспитательницу, а в окно — на дорогу, по которой уехал автобус. Потом завтрак. Каша. Всегда каша. Манная, пшённая, рисовая — разная, но одинаково невкусная, потому что не мамина. После завтрака — игры в группе или прогулка, если погода позволяла.

На прогулке я обычно стоял у забора. Забор был деревянный, серый от времени, с щелями, в которые можно было смотреть на дорогу. Я смотрел и ждал. Ждал, когда вдали покажется знакомый жёлтый ПАЗик, идущий обратным рейсом. Это значило, что день перевалил за половину, и скоро вечер, скоро дом.

Другие дети играли в снежки, лепили снеговиков, катались с горки на картонках. Я не умел играть. Дома со мной никто не играл — старшим было некогда, а я был слишком мал. Здесь, в саду, я не знал правил. Как встать в пару? Как попросить лопатку? Как ответить, если обозвали? Я молчал. Молчание было моей бронёй.

Но Бог внутри не даёт человеку засохнуть в одиночестве. Он посылает людей.

Первой стала Нюрка. Рыжая, конопатая, с вечно зелёными коленками (она падала чаще, чем ходила). Она подошла ко мне на третий день, когда я в очередной раз стоял у забора, и сказала:

— Ты чё, как сыч, в одну точку смотришь?

Пошли кулича лепить.

И я пошёл. Не потому что хотел лепить кулича. А потому что она позвала. Бог часто приходит к нам не в виде ангела с крыльями, а в виде рыжей девочки с разбитыми коленками, которой просто скучно одной.

Нюрка научила меня, как правильно переворачивать ведёрко с песком, чтобы кулич не развалился. Как находить в снегу самые блестящие камешки. Как плевать шелухой от семечек дальше всех (за это нас потом поставили в угол). Она была моим проводником в мир детства, в который я опоздал на несколько лет.

А потом появилась Аня. Это случилось зимой, на утреннике. Но помимо той первой встречи, был ещё целый год рядом с ней. До самого выпуска.

Мы сидели за одним столом. Ели из одной кастрюли компот (разливали по кружкам, но черпали из одного большого бачка). Она иногда улыбалась мне, и на щеках появлялись ямочки. Я дарил ей свои камешки, а она клала их в карман синего пальто. Однажды я сорвал для неё одуванчик на прогулке — первый, жёлтый, ещё даже не пушистый. Она взяла его, понюхала и сказала: «Пахнет солнцем». Я запомнил это на всю жизнь. Бог внутри меня в тот момент засмеялся. Не громко, а так, как смеётся отец, когда смотрит на своего неразумного, но любимого сына, который впервые сделал что-то правильно, сам не понимая, что именно.

Аня не отвечала мне взаимностью в том смысле, в каком это бывает у взрослых. Она просто была рядом. Иногда смотрела на меня, иногда нет. Иногда играла с другими девочками в «резиночку», а я сидел на скамейке и делал вид, что мне интересно ковырять палкой землю. На самом деле я просто смотрел, как она прыгает, и бант её подпрыгивает в такт. Это было моё первое в жизни созерцание красоты. Ещё не осознанное, но уже настоящее.

Весной мы сажали лук на подоконнике. Каждому дали по баночке из-под майонеза, земли и луковицу. Я свою поливал каждый день, ждал, когда вырастут зелёные перья. Выросли — длинные, кривые, пахли резко и свежо. Тётя Валя сказала, что мы понесём этот лук домой, матерям на суп. Я представил, как мать будет резать мой лук и, может быть, даже скажет: «Вон, сынок вырастил». И мне стало тепло. Бог внутри нас растёт, как этот лук на подоконнике. Медленно, незаметно, но упрямо тянется к свету, даже если стекло грязное, а за окном ещё снег.

Летом, перед школой, был выпускной. Мать пришла — уставшая, но в чистом платке. Отца не было, он работал. Средняя сестра приехала на автобусе вместе с матерью — я не знал, что она придёт, и когда увидел её в дверях, чуть не заплакал от радости. Мне выдали грамоту — бумажку, на которой было написано, что я «выпускник детского сада». Я не умел читать, но сестра потом сказала, что там моё имя и фамилия. И я впервые почувствовал, что я — это я. Не просто «мелкий», «сынок», «братик». А имя и фамилия. Как у взрослого.

Мы ехали обратно на том же ПАЗике. Мать дремала, положив голову на плечо средней сестры. Я смотрел в окно на поля, теперь уже зелёные, живые, и думал о том, что через три месяца пойду в школу. В ту же школу, куда пойдёт Аня. Я знал это, потому что Нюрка сказала: «Анька с нашей деревни, она в первый класс пойдёт, я узнавала».

И Бог внутри меня снова улыбнулся. Потому что впереди были девять лет школы. Девять лет безответной любви, украденных взглядов, записок на полях и полного неумения сказать о главном. Но это будет потом.

Школа стояла в том же селе, где детский сад. Почти через забор. Кирпичная, двухэтажная, с облупившейся штукатуркой и огромным тополем у крыльца. Когда ветер дул, тополиный пух залетал в коридоры и оседал на полу, как снег, которому некуда падать.

Первое время, в первом классе, я после уроков не шёл сразу на автобус. Я пробирался через дырку в заборе обратно в сад. Там, за верандой, стояли качели — железные, облезлые, с деревянным сиденьем, скрипевшим так, будто оно жаловалось на жизнь. Я садился и отталкивался от земли стоптанным сапогом. Вверх-вниз. Вверх-вниз. Скрип. Скрип.

И думал об Ане.

Она сидела через две парты от меня, у окна. Когда солнце било в класс, её голова в светлых волосах — бант уже не носила, только резинку с шариками — будто светилась. Я смотрел на затылок и воображал: вот мы идём вместе по полю, вот я несу её портфель, вот она поворачивается и говорит: «Ты знаешь, а я ведь тоже...»

Качели скрипели. Я ничего ей не говорил. Ни в первом классе, ни во втором, ни в третьем. Я просто смотрел и воображал. И чем дольше я воображал, тем страшнее было разрушить воображение реальным словом. А вдруг она ответит не так, как в моей голове? А вдруг засмеётся? А вдруг вообще не заметит?

Бог внутри меня в эти моменты был не судьёй и не командиром. Он был тем единственным зрителем в пустом кинозале, который смотрел мой внутренний фильм и не выкрикивал с места: «Давай уже, подойди к ней!» Он понимал. Он тоже вечно ждёт, чтобы Его заметили без просьб.

Отец в эти годы завёл большое хозяйство. Две коровы, пяток свиней, куры, утки, кролики — я уже путался, кто где живёт и чем питается. Помню запах навоза, сена и сырой глины, который въелся в одежду, в кожу, в самую душу, кажется.

Отец не работал. В деревне работы не было. Он целыми днями возился с хозяйством: чинил забор, перебирал старый трактор, который уже три года как не заводился, ходил с вилами от коровника к сеновалу. Мать продолжала работать на фабрике с утра до позднего вечера. Зарплату давали редко, чаще — мукой, тушёнкой или какой-нибудь манкой в мешках. Поэтому хозяйство было не прихотью — выживанием.

Но хозяйство требовало рук. И так как мать всегда была на фабрике, а отец один не справлялся, он начал заставлять нас.

Первое время мы просто помогали: принести воды из колодца, кинуть сена в кормушку, собрать яйца из-под кур. Но к третьему классу это стало системой. Подъём затемно. Отец стоит в дверях: «Вставайте. Скотина ждать не будет».

И мы вставали. Брат и я.

Мать уходила ещё раньше. Поэтому готовка, уборка, стирка — всё легло на сестёр. Отец распределил: старшая сестра ухаживает за братом, средняя — за мной. Я не знаю, было ли это осознанное решение или так само вышло, но моя средняя сестра, моя защитница с детства, снова встала между мной и миром. Она варила мне кашу, зашивала штаны, она же мыла меня в бане по субботам, пока я не научился сам. Старшая сестра ворчала, что ей брат достался ленивый, а я вон какой послушный. Средняя молчала. Как всегда.

Но была одна часть хозяйства, которая стала моим адом на три года. Кормёжка скотины.

Отец поставил нас с братом вдвоём: таскать вёдра с пойлом для свиней, кидать сено коровам, засыпать зерно курам. Мы делали это до школы и после школы. В любую погоду. В грязь, в мороз, в жару, когда навозная жижа чавкала под сапогами и мухи облепляли лицо.

Брат был старше и сильнее. И он вымещал на мне всю свою неприязнь. Сначала просто ругался — «криворукий», «мелкий дурак», «всё рассыпал». Потом начал бить. Не сильно, не до крови, но обидно: толкнёт в грязь, замахнётся черенком от лопаты, щёлкнет по носу так, что слёзы брызнут.

Я не жаловался. Ни отцу, ни матери. Отца я боялся — он бы сказал: «Сам разбирайся». Мать была слишком уставшей, чтобы вникать в наши свары. Даже средней сестре не говорил. Я таил. Внутри меня рос ком. Горячий, твёрдый, как картофелина, забытая в золе. Я стоял в хлеву, смотрел на брата, который в очередной раз обозвал меня, и шептал про себя: «Вырасту — отомщу. Ты ещё узнаешь. Ты заплачешь так же, как я сейчас плачу, только тебя никто не успокоит».

Я представлял, как стану большим и сильным. Как он придёт ко мне просить помощи, а я отвернусь. Эти фантазии были моим вторым фильмом в голове. Первый был про Аню. Второй — про месть.

Бог внутри меня в те моменты молчал. Или, может быть, Он говорил, но я не слышал за шумом собственной злости. А может, Он слушал. Просто слушал мои страшные молитвы, как

слушает отец сына, который кричит в подушку, что ненавидит весь мир. И ждал. Ждал, когда я выкричусь. Потому что Бог умеет ждать дольше, чем ты умеешь злиться.

И всё же я не огорчился. Вы удивитесь? Но это правда.

Пока другие дети после школы гоняли мяч по вытоптанному пустырю или резались в карты у коммерческого ларька, я таскал ведра с водой и засыпал зерно в кормушки. Брат бил меня, да. Но я видел, как у меня растут руки. Появляется сила — та самая, крестьянская, которая не от турников, а от ведра с пойлом, которое надо поднять на уровень груди и перелить в корыто.

Отец был рядом всегда. Стоял у ворот сарая. Не помогал. Не хвалил. Просто смотрел, жуя травинку.

Однажды я в одиночку перекидал целый воз сена на сеновал. Брат куда-то запропастился — то ли заболел, то ли просто сбежал к друзьям, не знаю. Я не стал искать. Я просто делал работу за двоих, пока спина не онемела. Когда я бросил последние вилы и спрыгнул вниз, мокрый, как мышь в ведре, отец вынул травинку изо рта и сказал ровно:

— Ну вот. Можешь, когда хочешь.

И пошёл. А я остался стоять. Этот короткий кивок судьбы — «Можешь, когда хочешь» — был для меня дороже любой медали. Потому что я понял: я становлюсь сильным. Не таким, как городские мальчишки, которые не таскали навоз. А таким, как отец. Который мог сломать доску голыми руками, но работу себе найти не мог, потому что страна сломалась быстрее его.

Бог внутри меня начал обретать тело. Не только дух, не только запахи и лоскуты, а мышцы, жилы, пот. Он становился той силой, что даёт выдержать, когда брат толкает тебя лицом в грязь. Не сдачи дать — а просто встать, вытереть лицо и идти дальше.

А дома, вечером, жизнь делилась на два лагеря.

Старшая сестра сидела с братом в одной половине избы. Они о чём-то шептались, иногда смеялись. Брат с ней был другой — не такой, как со мной. Она умела им управлять, льстила ему, называла «мой защитник», и он таял. Хитрость старшей сестры нашла себе применение: она создала себе союзника против всех остальных.

А мы со средней сестрой сидели на нашей половине. Она была умная, училась хорошо, и когда я приходил из школы, ей не нужно было проверять мои тетради — до пятого класса я и сам справлялся. Мы просто сидели рядом. Она что-то читала или вязала, я клеил модельки из спичек или просто смотрел в печку. Иногда она говорила:

— Опять брат обижал?

— Нет, — врал я.

— Врёшь. У тебя глаза красные.

— Я не плакал.

— Знаю, что не плакал. Ты у меня никогда не плачешь теперь. Но я же вижу.

И она клала свою шершавую, умную руку мне на макушку. Мы сидели молча. За окном была февральская метель. В печке потрескивали дрова. И я думал, что ради этих пяти минут тишины можно потерпеть всё.

Бог внутри меня имел лицо средней сестры. И голос её. И руки в цыпках. Потому что любовь — это не когда тебя спасают от труда. Любовь — это когда садятся рядом и говорят: «Я же вижу». Даже если ты отличник и сам делаешь все уроки.

Аня сидела через две парты от меня, ближе к окну. В первом классе нас рассадили по росту, и я оказался почти на галёрке, а она — в среднем ряду, у самого света. Солнце падало на её волосы, и они светились изнутри, как лампадное масло.

Я смотрел на её затылок. Это было моё главное занятие на всех уроках. Учительница, Антонина Петровна, сухая женщина с указкой, что-то говорила про «жи-ши пиши с буквой и», а я смотрел, как Аня поправляет резинку, как наклоняет голову к тетради, как шевелит лопатками под синей формой, когда пишет.

Иногда она оборачивалась. Резко, будто чувствовала мой взгляд. Тогда я мгновенно утыкался в свою тетрадь, сердце колотилось так громко, что, казалось, весь класс слышит. Она, наверное, думала, что я просто какой-то странный мальчик с задней парты, который вечно краснеет и смотрит в стол. Она не знала, что в моей голове уже случилась наша целая жизнь.

Однажды на перемене она проходила мимо, задела мой учебник, и он упал на пол. Мы наклонились одновременно и чуть не столкнулись лбами. От неё пахло тем же хозяйственным мылом, что и в саду, и ещё чуть-чуть — жжёным сахаром, наверное, мама дала леденец с собой. Я замер. Она подняла учебник, положила на парту и сказала:

— Держи. А то всё в облаках витаешь.

И ушла к своим подружкам. «В облаках витаешь». Три слова. Я перекачивал их во рту неделю, как карамельку. Она заметила, что я витаю в облаках. Значит, она думает обо мне. Хоть немного. Хоть чуть-чуть.

Бог внутри меня в эти моменты не требовал действий. Он просто сидел рядом и тоже смотрел на Аню. Потому что Бог, как и я, умеет любить безответно. Вся история мира — это история безответной любви Бога к человеку, который постоянно отворачивается. Но продолжает «витать в облаках» и ждать.

В третьем классе к нам перевели новенького — Сашку из райцентра. Его отец был каким-то мелким предпринимателем при местной администрации, и Сашка ходил в кроссовках, а не в кирзачах, и носил в портфеле жвачку «Турбо» с вкладышами-тачками.

Он сел рядом с Аней. Их специально посадили вместе — отличница и хулиган, чтобы подтягивать. Я смотрел, как он наклоняется к ней за ластиком, как шепчет что-то на ухо, как она смеётся. Её ямочки на щеках теперь были не для меня. Они были для него.

Я ненавидел Сашку. И одновременно ненавидел себя за эту ненависть. Я же не имел на неё никаких прав. Я даже ни разу не сказал ей ни слова про то, что она для меня значит. Но внутри всё горело. На перемене я стоял у подоконника и смотрел, как они вдвоём идут в столовую. Он что-то рассказывал, она смеялась. Он толкнул её плечом в шутку. Она толкнула в ответ.

Мой внутренний фильм трещал и покрывался помехами, как старый телевизор «Горизонт», когда антенна съезжает с крыши. Воображение отказывалось работать. В животе стоял холодный ком.

В тот день я пришёл домой и вместо того, чтобы пойти кормить кур, залез на сеновал и просидел там час. Средняя сестра нашла меня уже затемно.

— Ты чего? — спросила она, залезая по лестнице. — Брат тебя опять?..

— Нет, — сказал я. — Просто.

Она села рядом, не стала расспрашивать. Просто посидела. И вдруг сказала:

— Я тоже любила одного. Давно. Он на тракториста учился. А потом уехал в город и пропал. Знаешь, что я поняла? Любовь — она как сено. Её можно сложить в копну, а можно развеять по ветру. Если Богу угодно, она вырастет снова. Если нет — значит, не твоя была. Ты ещё маленький, но запомни это.

Я не ответил. Но запомнил.

Бог внутри меня впервые заговорил голосом не отца и не моей собственной злости, а голосом сестры. Он сказал: «Если не твоя — отпусти. Но это потом. Пока просто живи с этим». И я жил.

Так прошли мои первые три класса. Между качелями и скотным двором. Между безответной любовью и тайной ненавистью к брату. Между тишиной средней сестры и молчаливым кивком отца. Я ещё не знал слова «Бог». Но он уже стоял рядом со мной в хлеву. Сидел за моей партой. Скрипел качелями в старом саду. И ждал. Ждал, когда я начну говорить с Ним не мстью, не обидой, не молчанием, а чем-то совсем другим.

Драться я перестал не из-за брата. Из-за случая в школе.

В конце третьего класса, ещё до лошадей и переломов, я подрался с одним мальчишкой на заднем дворе, за поленницей. Уже не помню, из-за чего. Какая-то глупость: то ли мяч отняли, то ли обозвали. Мы сцепились, я был мелкий, но злой и вцепился в него как клещ. Он извернулся и ткнул мне пальцем прямо в глаз. Не кулаком — пальцем. Глаз обожгло так, будто туда плеснули кипятком. Я заорал и разжал руки.

Потом был фингал на пол-лица, трясущиеся руки матери, фельдшер в медпункте, который сказал: «Повезло. Ещё немного — и прощай, глаз». Глаз уцелел, но страх остался. Я боялся, что в драке мне снова попадут в лицо, опять в глаз, и в этот раз я ослепну. Этот страх сидел во мне, как заноза, и делал меня слабым. Сжимал кулаки.

Поэтому когда в четвёртом классе меня начал лупить Генка Петров — здоровый, туповатый, с вечно грязными ногтями, — я не давал сдачи. Я закрывал лицо руками и терпел.

Дома брат. В школе Генка.

Я становился мальчиком, который привык, что его бьют. И никто не знал, откуда это взялось. А взялось с одного тычка пальцем в глаз.

Бог внутри меня в те минуты, кажется, закрывал лицо ладонями вместе со мной. Он не был избавителем в тот год. Он был соучастником. Тем, кто стоит рядом, когда тебя пинают, и не убегает.

А потом отец завёл лошадей.

Не знаю, зачем. Может, чтобы возить сено, может, просто душа просила. Конь был серый, в яблоках, тяжёлый, как танк. Кобыла поменьше, рыжая, с белой звездочкой на лбу. Они пахли иначе, чем коровы, — не кислым навозом, а чем-то тёплым, сухим, степным.

Поначалу я боялся. Конь косил на меня лиловым глазом, переступал копытами, земля вздрагивала. Отец сказал: «Не бойсь. Лошадь умнее тебя в сто раз, она сама знает, что делать». Я не верил. Но не подходить было нельзя: отец приказал нам с братом ухаживать и за ними тоже. Корма прибавилось. Сена на лошадей уходило немерено. Мы ворочали тюки, резали солому сечкой, возили воду ведрами. Брат по-прежнему покрикивал, но теперь мы не просто ругались — мы дрались. Я уже не плакал, давал сдачи. И проигрывал.

Но лошади были не только работой. Они были единственным, что не обижало. Я приходил к рыжей кобыле вечером, когда брат уходил в дом, и стоял, уткнувшись лбом в её тёплую шею. Она пахла сеном и летом. Она дышала громко, ровно. Иногда мне казалось, что она понимает больше, чем люди.

Бог внутри меня, с которым я пока ещё был, пах лошадьё. Он был не голосом, не лоскутом, а теплом живого существа, которое не предаёт. Даже если ты боишься драк.

А дом тем временем пустел.

Старшая сестра вышла замуж и уехала. Бросила школу в восьмом классе, собрала узелок, села в какой-то выдавший виды «Москвич» с парнем из соседнего района и укатила. Даже не попрощалась толком. Просто в один день её комната опустела. Я не скучал. Она была чужая, братова. Но дом стал другим — как будто из печки вынули одну конфорку, и тепло ушло.

А потом уехала средняя.

Она поступила в училище, в город. Это было её право, она умная и заслужила вырваться из навоза и грязи. Но для меня это был удар. Я привык, что она рядом, что можно вечером сесть на нашей половине, молчать и знать: она видит меня. Теперь она приезжала только на выходные. Иногда не приезжала — зачёт, практика, погода нелётная.

Я остался один. Брат занимал старшую половину избы, я — нашу. Но теперь там был о пусто. Я садился на её стул, смотрел в печку и слушал, как скребутся мыши под полом.

Бог внутри меня в эти вечера был тишиной. Не уютной, не мирной, а вакуумной, космической тишиной, в которой не слышно ни себя, ни Его.

Летом после пятого класса я упал с лошади.

Отец велел отогнать табун на дальний выпас. Я сел на рыжую кобылу без седла — седла не было, отец говорил: «Казак должен без седла ездить». Я не был казаком. Я был худым пацаном с кривыми ногами, который видел лошадь только в телевизоре и в отцовском сарае.

Мы поехали. Сначала шагом, потом рысью. В рыси я подскакивал и плюхался на круп, было больно и страшно. А потом из кустов вылетела какая-то птица, кобыла шархнула вбок, и я полетел.

Помню, как земля ударила в плечо. Хруст. Боль — такая, что в глазах побелело.

Отец отвёз меня в районную больницу. Врач, пожилой мужик с табачными пальцами, долго мял руку, потом наложил гипс и сказал: «Срастётся». Не срослось. Срослась криво. Наверное, надо было в область, к нормальным врачам, но отец сказал: «Денег нет. Заживёт».

Зажило. Криво. Локоть выпирал куда-то внутрь, рука до конца не разгибалась. Я остался криворуким.

С того дня у меня сложилось плохое отношение к врачам. Не к конкретному мужику с табаком, а ко всем. Они говорили «срастётся», а не срасталось. Обещали, а выходило криво. Взрослые ввали. Это было открытие пострашнее падения.

Бог внутри меня в тот момент покачнулся. Не исчез. Просто я посмотрел на свою кривую руку и впервые подумал: «А где был Ты, когда я падал? Ты же смотрел? Почему не подстелил соломы?»

Это был первый росток отдаления. Я ещё не рвал с Ним. Но начал думать головой. И голова задавала неудобные вопросы.

К шестому классу я начал курить.

Первую сигарету дал Генка Петров — тот самый, который меня бил. Забавно: он бил, но иногда, в редкие минуты перемирия, угощал сигаретой. Может, чувствовал вину. Может, хотел показать себя крутым. Я затаился, закашлялся, чуть не вывернуло. Но не бросил. Хотел казаться взрослым.

Аня перестала на меня смотреть совсем.

Я знал это. Я видел, как она отворачивалась, когда я проходил мимо с запахом табака изо рта. Она была отличница, комсомолка душой даже без комсомола. Ей не нужен был мальчик с кривой рукой и папиросой за ухом. Она по-прежнему сидела у окна, солнце по-прежнему светило ей в волосы, но теперь мой внутренний фильм стал чёрно-белым. Я смотрел на неё и думал: «Ты никогда не будешь моей. Ты даже не смотришь».

Я не переставал её любить. Но любовь стала тусклой, как угли в печке наутро. Ещё тёплые, но уже без огня.

Бог внутри меня в эти дни был пеплом. Он не ушёл, но присыпал Себя. Ждал, когда я перебеснуюсь.

И всё же я стал сильнее. Несмотря на кривую руку, несмотря на страх. К шестому классу я раздался в плечах, руки стали узловатыми, как у отца. Брата я по-прежнему не мог победить — он всё ещё был сильнее, — но Генке я дал отпор.

Не кулаками. Словами.

Однажды он в очередной раз подошёл на перемене, толкнул в плечо и сказал: «Чё, криворукий, опять курить пришёл?» Я повернулся, посмотрел ему в глаза — не снизу вверх, а прямо — и сказал спокойно:

— Гена, ты бьёшь меня, потому что тебя дома никто не любит. Мне тебя жаль.

Он замер. Кулак, уже занесённый, повис в воздухе. Вокруг заржали. Он покраснел, плюнул и ушёл. И больше никогда меня не трогал.

Я не знал, любит его кто-то дома или нет. Это было предположение. Но оно сработало. Слова оказались сильнее кулаков. Впервые в жизни я почувствовал другую силу — не ту, от вёдер, а ту, что идёт изнутри, из живота, из того места, где раньше жила злость, а теперь поселилось что-то спокойное и холодное.

Бог внутри меня к тому моменту уже почти замолчал. Но этот удар словом был Его ударом. Я ещё не знал, что «в начале было Слово». Я просто понял: можно не бить. Можно говорить. И это страшнее.

С момента перелома я начал отдаляться от Бога.

Не в один день. Потихоньку. Как лёд на реке: сначала тонкая корочка у берега, потом всё русло встаёт. Я вырослел. Я думал головой.

Голова говорила: «Если Бог есть, почему рука срослась криво?» Голова говорила: «Если Бог внутри, почему Он молчит, когда брат бьёт?» Голова говорила: «Если Аня не смотрит, может, и Бог на меня не смотрит?»

Я не стал атеистом. Просто перестал чувствовать Его рядом. Он не ушёл. Но я перестал Его искать. Слишком занят был выживанием. Дома — хозяйство и брат. В школе — сигареты. Внутри — Аня, которая не смотрит.

Бог внутри меня стал воспоминанием. Как бабушкин лоскут, который всё ещё лежал где-то в сундуке, но я уже не доставал его в трудную минуту. Я вырос из лоскута. Или мне так казалось.

Так прошли 4–6 классы. Дом опустел, сестра уехала, любовь потускнела, рука срослась криво, а Бог отодвинулся за горизонт. Но Он не исчез. Он просто ждал следующей главы.

В седьмом классе я окончательно скатился на тройки. Математика, русский, физика, биология — всё слилось в серый шум, как радио между станциями. Я сидел на задней парте, смотрел в окно и ждал, когда кончится урок. Учителя махнули на меня рукой, и я махнул в ответ.

Но физкультура и труд были на отлично. Физрук, дядя Коля, краснолицый мужик с вечным свистком на шее, однажды посмотрел на мою кривую руку и сказал: «Ничего. Я таких кривых сто раз видел. Рука не для турника, турник для руки». И я подтягивался. Больно, криво, но подтягивался. И на лыжах бегал. И мяч кидал. Кривая рука не мешала — она злила. А злость, когда её направляешь в дело, это топливо.

На трудах я строгал табуретки и чинил школьные стулья. У меня получалось. Дерево слушалось моих рук. Я понимал его — оно было тёплое, податливое, не то что люди.

Друзьями в школе я так и не обзавёлся. Генка исчез из моей жизни окончательно, будто выполнил свою функцию — научил меня бояться, а потом ждать, а потом бить словом. Другие мальчишки меня не трогали. Я сторонился их, они — меня. Я не был изгоем. Я был невидимкой. Так было удобнее.

Бог внутри меня, если ещё и был, стал невидимкой вместе со мной. Мы оба сидели на задней парте и ждали чего-то.

Аня по-прежнему была недоступна.

Дело было не только в том, что она отличница, а я троечник. Дело было в деньгах. Вернее, в их полном отсутствии.

У нас было большое хозяйство: коровы, лошади, свиньи, куры, кролики. Но денег это не давало. Продавали мы по мере надобности: когда нужны были учебники, когда мать говорила «в школу идти не в чем». Всё, что я видел из года в год — это сборы на 1 сентября. Одна рубашка, одни ботинки, один рюкзак. И хватит.

А Аня приходила в новом. Не в богатом, но в новом. Её отец работал в сельсовете, мать — в библиотеке. У них была чистая изба, забор покрашен, калитка не скрипит. Я ни разу не был у них дома, но воображал его: там, наверное, пахнет книгами и пирогами, а не навозом и соляровкой.

Отец тем временем покупал «железяки». Если раньше мы гребли сено вилами, то теперь он приобрёл грабли для лошадей. Мы гребли ими. Работа стала чуть легче, но суть не менялась: деньги шли не на одежду, не на ремонт избы, а в хозяйство. Хозяйство было его верой. Его богом. Его единственным смыслом.

Я стеснялся открыться Ане. Не потому что боялся отказа — я его и так знал. А потому что мне нечего было ей дать. Я не мог подарить ей даже шоколадку, не выклянчив у матери рубль. А рубля у матери не было.

И вдруг случилось странное.

На 8 марта, в седьмом классе, классная руководительница подошла ко мне на перемене и сунула в руки маленький пакетик, перевязанный ленточкой:

— Это Ане. От класса. Но подари ты.

Я опешил. Оказалось, весь класс и учителя знали о моих чувствах. Знали! Я думал, это моя тайна, спрятанная в груди под тремя замками, а она была как флаг над школой — видна всем.

Я подошёл к Ане, красный как свёкла, буркнул: «С праздником» — и сунул пакетик. Она улыбнулась. Вежливо. Как улыбаются тёте в магазине. Искры в глазах не было.

На 23 февраля она подарила мне открытку. Тоже от класса. Я хранил её до конца учебного года, а потом порвал и выбросил. Не от злости. От правды.

Бог внутри меня, который раньше ликовал при виде Ани, теперь молчал. Он не обнадеживал. Он просто смотрел, как я раз за разом разбиваю лоб о стену безответности. Может, Он ждал, что я наконец пойму что-то важное. Но я не понимал.

С братом я справился.

Нет, я не одолел его физически. Он всё ещё был старше. Но в драках я уже наносил значительный ущерб — так, что он начал опасаться. Однажды я так двинул ему локтем в челюсть, что он сел на землю и смотрел на меня снизу вверх широко раскрытыми глазами. В них был не гнев — удивление. Мелкий вырос.

Драться мы перестали. Вместо этого кричали. Стояли друг напротив друга посреди двора и орали с такой ненавистью, что куры разбежались. Каждый доказывал свою правду. Моя правда была: «Я не твоя скотина, ты мне не отец». Его правда была: «Ты никто, мелкий, и всегда будешь никем».

Мать выходила на крыльцо, куталась в платок и говорила тихо: «Хватит. Соседи же слышат». Мы замолкали на час. Потом снова.

Бог внутри меня в эти минуты, наверное, затыкал уши. Или, наоборот, слушал внимательно — как слушают бурю, которая должна пройти, прежде чем наступит ясное небо.

В эти годы я стал дядей. Старшая сестра родила сына. Я узнал об этом от матери: «У тебя племянник». Я не почувствовал ничего. Сестру я не видел с тех пор, как она уехала, её сын был где-то далеко, в чужой жизни. Дядя — слово взрослое, а я не чувствовал себя взрослым. Я чувствовал себя загнанной лошастью, которая тащит плуг и не знает, зачем.

А средняя сестра закончила училище. Вышла замуж. И поселилась в той же деревне, где мы жили. Мать с отцом купили ей хату — не за деньги, которых не было, а за хозяйство. Отдали корову, быка, коня и пару свиней. Это был их способ обеспечить дочери старт.

Теперь сестра жила через три дома от нас. Я заходил к ней иногда после школы. У неё было чисто, пахло свежей побелкой и супом. Она всё так же молчала, но теперь в её молчании был покой. Она смотрела на меня и говорила: «Отец тебя совсем загнал с хозяйством. Ты бы хоть уроки делал». Я отмахивался. Но мне было тепло от того, что она рядом. Пусть и не в моей половине избы. Пусть через три дома.

Бог внутри меня всё ещё носил её лицо. Но теперь это лицо было не рядом. Оно было через три дома. Близко, но не дотянуться.

В восьмом классе я открыл для себя дискотеку.

Она проходила в местном клубе — деревянном бараке с облупившейся штукатуркой и одной мигающей лампочкой. Магнитофон орал «Руки вверх» и «Иванушек». Девчонки жались по стенкам, парни курили на крыльце. Внутри пахло потом, дешёвым одеколоном и сигаретным дымом. Я влюбился в это место сразу.

Здесь я обзавёлся компанией. Брат тоже был с нами — самый старший. Мой первый и лучший друг, Санька, был самым младшим, младше меня на год. Мы пили. Сначала пиво, потом что-то похуже — дешёвый портвейн, самогон, который гнал чей-то дядька. Я курил уже открыто, не прячась от отца. Он, кажется, знал, но молчал.

После дискотеки время от времени нас били. Старшие ребята, пьяные, весёлые, злые. Догоняли по темноте, роняли в грязь, пинали. Мы вставали, отряхивались и шли домой. А через неделю били мы. Кого-то младше или слабее. Так было устроено. Нас били, и мы вас бьём.

Это был закон силы. Первый закон, который я понял не из книг.

Бог внутри меня на этих дискотеках не появлялся. Он не ходил в клуб с облупившейся штукатуркой. Он оставался дома, ждал на пороге, когда я вернусь пьяный и злой, и ничего не говорил. Просто ждал.

В стране было тяжело. 1998 год ударил дефолтом. В городах люди теряли работу, накопления сгорали, заводы вставали. До нашей деревни это долетало эхом — зарплату матери не платили месяцами. Но я помню талоны. Маленькие бумажки: на хлеб, на масло, на сахар, на мясо. Мать брала под зарплату, занимала у соседей, выкручивалась.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.